

Прочтения

Андрей Зорин «Преступление и наказание» по Толстому

Andrei Zorin

«Crime and Punishment» according to Tolstoy

Андрей Зорин

Оксфордский университет, профессор-эмеритус; доктор филологических наук
andrei.zorin@new.ox.ac.uk

Ключевые слова: принцип ненасилия, криминальное и легальное насилие, раскаяние, «Фальшивый купон», «Божеское и человеческое»

УДК: 172.4 + 821.161.1

DOI: 10.53953/08696365_2025_196_6_249

Концепция ненасилия — одна из наиболее известных и широко обсуждаемых составляющих философии Толстого. Однако абсолютный характер ненасилия в его философии не исключал напряженного интереса к феномену насилия. На протяжении всей жизни Толстой анализировал насилие, реконструировал его внутреннюю логику, выстраивал сложную иерархию его форм. В этой статье речь идет об отношении Толстого к криминальному и легальному насилию. С его точки зрения, разбойники и убийцы, действуя на собственный страх и риск, понимают, что совершают зло и потому с большей вероятностью могут раскаяться в своих поступках и заслуживают большего сострадания, чем палачи или судьи, убивающие людей под защитой закона и репрессивного аппарата государства.

Andrei Zorin

Dr. habil.; Professor Emeritus, University of Oxford
andrei.zorin@new.ox.ac.uk

Keywords: the principle of non-violence, criminal and legal violence, repentance, *Divine and Human, False Coupon*

UDC: 172.4 + 821.161.1

DOI: 10.53953/08696365_2025_196_6_249

The concept of non-violence is one of the most well-known and widely-discussed elements of Tolstoy's philosophy. However, the absolute character of the non-violence principle somehow obscures Tolstoy's lifetime passion in analysing the phenomenon of violence, reconstructing its inner logic and establishing the complex hierarchy of its forms. According to Tolstoy, robbers and murderers acting at their own risk understanding that their acts are vile are more likely to repent and deserve more compassion than executioners or judges who send people to the gallows protected by the law and the repressive apparatus of the state.

Концепция ненасилия — одна из самых широко известных и регулярно обсуждаемых составляющих философии позднего Толстого¹. Интересно, что даже лучшие работы, в заголовке которых заявлена тема «Толстой и насилие», часто обсуждают ненасилие². Он сам неоднократно подчеркивал, что принцип ненасилия является краеугольным камнем его учения, и не может быть нарушен ни при каких обстоятельствах — ни в целях восстановления справедливости, ни при угрозе жизни человека, ни даже при угрозе его близким или другим невинным людям. Установленное Богом равенство людей исключало с его точки зрения любое принуждение, наиболее радикальной и концентрированной формой которого окзывается насилие.

«В идее нельзя допускать ни малейшего компромисса. Компромисс выйдет неизбежно в практике, и потому тем меньше можно допустить компромисс в теории, — писал Толстой в 1890 году своему последователю в Америке Хайму-Вулфу Кантору (LXV, 70)³. Однако именно абсолютность принципа ненасилия порой заслоняет от внимания исследователей то постоянное и напряженное внимание, с которым Толстой на протяжении всей жизни всматривался в феномен насилия, пытаясь разобраться в его внутреннем устройстве и выстраивая сложную иерархию его форм.

Размышления о природе и причинах насилия сопровождали Толстого всю жизнь. Еще в первом «кавказском» рассказе «Набег», написанном в 1851–1852 годах, одновременно с «Детством» — дебютным произведением Толстого, старый капитан, давно служащий на Кавказе, спрашивает рассказчика, для чего тот поехал на войну волонтером: «...вам просто хочется, видно, посмотреть, как людей убивают?..» (III, 16). В итоговом тексте повествователь, за которым угадывается автор, оставляет этот вопрос без внимания, в черновике он, не колеблясь, отвечает на него утвердительно: «Вот именно это-то мне и хочется видеть: как это, человек, который не имеет против другого никакой злобы, возьмет и убьет его, и зачем?..» (III, 227).

Этот вопрос был вынесен в заголовок статьи «Зачем люди друг друга убивают?» (Толстой и империя)⁴, посвященной теме военного насилия у Толстого. В настоящей статье речь пойдет о криминальном и легальном насилии, приобретающем особое значение в позднем творчестве писателя, когда, после смерти Достоевского, он как бы принимает на себя ответственность за разработку темы «преступления и наказания». Сюжеты большей части его произведений этого периода так или иначе связаны с убийствами, казнями или другими формами криминального или институционализованного насилия и часто, в соответствии с образцом, заданным Достоевским, прямо основаны на

-
- 1 См.: Мележко Е.Д. Философия непротивления Л.Н. Толстого. Тула: Издательство Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого, 1999; Гусейнов А.А. Непротивление злу силой // Лев Николаевич Толстой / Под ред. А.А. Гусейнова, Т.Г. Щедриной. М.: Политическая энциклопедия, 2014. С. 216–246.
 - 2 См.: Полосина А.Н. Идея насилия в творчестве Л.Н. Толстого // Культура и искусство. 2012. № 3 (9). С. 8–13.
 - 3 Здесь и далее ссылки на Полное собрание сочинений Л.Н. Толстого в 90 томах (М.: ГИЗ–ГИХЛ, 1928–1958) даются в тексте с указанием номера тома римской цифрой и номера страницы арабской цифрой.
 - 4 См.: Зорин А.Л. «Зачем люди друг друга убивают?» (Толстой и империя) // Новое литературное обозрение. 2024. № 188. С. 74–86.

криминальной хронике⁵. Достаточно назвать (в хронологическом порядке): «Бог правду видит да не скоро скажет», «Власть Тьмы», «Крейцерову сонату», «Дьявол», «Воскресение», «После бала», «Фальшивый купон», «Свет и во тьме светит», «Божеское и человеческое», и пр. Те же мотивы постоянно разрабатываются в его незаконченных набросках, вроде «Павла Кудряша» и «Нет в мире виноватых», и черновиках. Скажем, в окончательной редакции «Отца Сергия» тема насилия не выходит на поверхность, но в первоначальной версии герой-отшельник убивает соблазвившую его купеческую дочь.

Еще в молодые годы, оказавшись в 1857 году в Париже, Толстой отправился посмотреть на смертную казнь: в России, где публичная смертная казнь была отменена еще за полвека до его рождения, такой возможности у него не было. Серийный убийца Франсуа Ришо был казнен в присутствии толпы в 15 000 человек. В тот же день, 6 апреля по русскому стилю, Толстой записал свои впечатления об этом событии в дневнике и рассказал о нем в письме Василию Боткину в Москву. Как всегда в таких случаях, он перешел от фиксации своих непосредственных переживаний к философским проблемам самого общего характера:

Я имел глупость и жестокость ездить нынче утром смотреть на казнь, <...> — это зрелище мне сделало такое впечатление, от которого я долго не опомнюсь. Я видел много ужасов на войне и на Кавказе, но ежели бы при мне изорвали в куски человека, это не было бы так отвратительно, как эта искусная и элегантная машина, посредством которой в одно мгновение убили сильного, свежего, здорового человека <...> А толпа отвратительная, отец, который толкует дочери, каким искусным удобным механизмом это делается, и т. п. Закон человеческой — вздор! Правда, что государство есть заговор не только для эксплуатаций, но главное для развращения граждан. <...> Я понимаю законы нравственные, законы морали и религии, необязательные ни для кого, ведущие вперед и обещающие гармоническую будущность, я чувствую законы искусства, дающие счастье всегда; но политические законы для меня такая ужасная ложь, что я не вижу в них ни лучшего, ни худшего (LX, 167–168).

Это зрелище стало одним из поворотных моментов жизни Толстого, когда он принял остававшееся неизменным на протяжении всей его жизни решение, что он «не только никогда не пойдет смотреть этого», но и «никогда не будет служить нигде никакому правительству» (LX, 168). Смертная казнь стала для него наиболее полным воплощением зла государственного насилия — самого чудовищного из всех возможных видов насилия. Через тридцать лет в своей книге «Так что же нам делать» он вспоминал, как

видел в Париже, как в присутствии тысячи зрителей отрубили человеку голову гильотиной. Я знал, что человек этот был ужасный злодей; я знал все те рассуждения, которые столько веков пишут люди, чтобы оправдать такого рода по-

5 Особая тема — отношение Толстого к революционному насилию. С его точки зрения, революционеры и террористы заслуживают снисхождения, поскольку, с одной стороны, рискуют собственными жизнями, а с другой, искренне стремятся помочь угнетенным. В то же время их убежденность в собственной правоте и том, что насилие может быть оправдано высокими целями, делает революционный террор во многом подобным правительственному. См. замечательную статью Инессы Меджибовской: *Medzhibovskaya I. Tolstoy's Response to Terror and Revolutionary Violence // Kritika. Explorations in Russian and Eurasian History 2008. Vol. 9. No. 3. P. 505–531.*

ступки; я знал, что это сделали нарочно, сознательно; но в тот момент, когда голова и тело разделались и упали в ящик, я ахнул и понял не умом, не сердцем, а всем существом моим, что все рассуждения, которые я слышал о смертной казни, есть злая чепуха, что сколько бы людей ни собралось вместе, чтобы совершить убийство, как бы они себя ни называли, убийство худший грех в мире, и что вот на моих глазах совершен этот грех. Я своим присутствием и невмешательством одобрил этот грех и принял участие в нем (XXV, 190).

Называя убийство «худшим грехом в мире», Толстой вовсе не считал смерть саму по себе чем-то дурным. Напротив того, он был убежден, что человек должен быть во всякий момент жизни готов к смерти и относиться к ней как к переходу его разумного сознания в иное состояние, приобщение жизни, запертой в телесной оболочке отдельного животного существования, к жизни общей:

Нам кажется, что человек умирает, когда этого ему не нужно, а этого не может быть. Умирает человек только тогда, когда это необходимо для его блага, точно так же, как растет, мужает человек только тогда, когда ему это нужно для его блага. <...> Не может прекращаться начатое и неконченное движение жизни человека в этом мире от того, что у него сделается нарыв, или залетит бактерия, или в него выстрелят из пистолета (XXVI, 421–422), —

писал он в своем самом главном философском трактате «О Жизни». Трактат этот написан в 1886 году, но похожее отношение к жизни и смерти проявилось у Толстого и в раннем рассказе «Три смерти», и на пике жизни в «Войне и мире» в описании смерти князя Андрея.

Соответственно, у человека нет причин бояться собственной смерти или даже смерти близких и любимых людей. В уже цитированном письме Х.-В. Кантору Толстой возражал против его идеи, что душевнобольных можно силой держать под стражей для их же собственного блага, чтобы удержать их от совершения преступлений:

Если я допущу, что бешеного можно запереть, то я должен допустить и то, что его должно убить. — А то, что же он будет мучаться? <...> Если можно запирают, то будет то насилие, от которого теперь стонет мир — в России 100 тысяч заключенных; а если нельзя, то что же будет такого страшного? То, что бешеный убьет меня, вас, мою дочь, вашу мать? Да что же тут такого страшного? Умереть мы все можем и должны. А дурного делать мы не должны. Но, во-первых, бешеные редко убивают; а если убивают, то ведь предмет, который надо жалеть, которому надо помогать, не я, которого может еще только убить бешеный, а он — наверное изуродованный, страдающий; и помогать надо ему, думать о нем (LXV, 70–72).

Зло, которое причиняет насилие, и, прежде всего, убийство живого существа, связано не столько с тем, что оно прекращает жизнь другого человека, сколько с тем, что оно губит и отравляет душу самого убийцы, что не может не сказаться на той общей жизни, к которой этот убийца неминуемо причастен: единая мировая душа страдает от зла, причиненного ее неотъемлемой частице. При этом самое страшное злодейство может быть, по крайней мере, частично искуплено искренним раскаянием — злодею необходимо увидеть свой грех в свете идеала разумной и нравственной жизни, ужаснуться ему, покаяться и исправить свое земное бытие. Соответственно, все исторические формы насилия могут быть оценены в перспективе тех возможностей для покаяния, которые они оставляют человеку.

Критерием, позволяющим расположить формы насилия на разных этажах шкалы зла, оказывается возможность (вероятность) раскаяния. Преступление тем страшнее, чем сильнее преступник убежден в оправданности своих действий, поэтому больше всего шансов на спасение оставляет прямое криминальное насилие, включая самые зверские убийства. Как полагал Толстой, даже самый закоренелый убийца всегда в глубине души отдает себе отчет в том, что его действия противны установлениям Бога и потому вынужден заглушать свою совесть, которая, однако, иногда может проснуться.

Разбойники, убивающие с риском оказаться в тюрьме или на виселице, в большей мере заслуживают сострадание, чем палачи или судьи, приговаривающие других к казни под защитой репрессивного аппарата государства. Лучшей из всех когда-либо написанных трагедий Толстой считал «Разбойников» Шиллера. В 1890 году он написал в дневнике,

Räuber'ы Шиллера от того мне так нравились, что они глубоко истинны и верны. Человек, отнимающий, как вор или разбойник, труд другого, знает, что он делает дурно; а тот, кто отнимает этот труд признаваемы[ми] обществом законными способами, не признает своей жизни дурной, и потому этот честный гражданин несравненно нравственно хуже, ниже разбойника (LI, 58).

Толстой был внимательным читателем Достоевского, причем он особенно высоко ценил даже не «Преступление и наказание», непосредственно описывающее историю покаяния и нравственного возрождения убийцы, сколько «Записки из Мертвого дома», которые он назвал «лучшей книгой из всей новой литературы, включая Пушкина <...> искренней, естественной и христианской» (LXIII, 24). Толстого привлекало отношение Достоевского к каторжникам, в том числе совершившим самые страшные преступления, как к живым душам, способным к моральному возрождению.

Толстой здесь оказывается радикальней Достоевского. В трагедии «Власть тьмы» он изображает героя, сначала помогающего своей любовнице отравить мужа, потом соблазняющего дочь покойного от первого брака и в финале совершающего, как кажется, самое страшное из мыслимых преступлений — убийство своего новорожденного сына. Однако это чудовищное злодейство наконец возвращает ему понимание основных нравственных ценностей и приводит к покаянию:

Н и к и т а. На погребнице доской ребеночка ее задушил. Сидел на нем... душил... а в нем косточки хрустели. *(Плачет.)* И закопал в землю. Я сделал, один я!

А к у л и н а. Брешет. Я велела.

Н и к и т а. Не щити ты меня. Не боюсь я теперь никого. Прости меня, мир православный! *(Кланяется в землю.)*

(Молчание.)

У р я д н и к. Вяжите его, свадьба ваша, видно, расстроилась. *(Подходит народ с кушаками.)*

Н и к и т а. Погоди, поспеешь... *(Отцу кланяется в ноги.)* Батюшка родимый, прости и ты меня, окаянного! Говорил ты мне спервоначала, как я этой блудной скверной занялся, говорил ты мне: «коготок увяз и всей птичке пропасть», не послушал я, пес, твоего слова, и вышло по-твоему. Прости меня Христа ради.

А к и м (в восторге.) Бог простит, дитяtko родимое. (Обнимает его.) Себя не пожалел, Он тебя пожалеет. Бог-то, Бог-то! Он во!.. (XXXVI, 242).

Аким, отец убийцы, служит в пьесе выразителем крестьянской и христианской морали. До признания Никиты он ничего не знает о его преступлении, хотя и чувствует, что его сын погубил свою душу. Покаяние сына вызывает у него не ужас, но восторг, потому что он знает, что путь к искуплению открыт даже для самого страшного преступника.

В рассказе «Фальшивый купон», который Толстой писал более пятнадцати лет, но так и не закончил, рассказывается о заразительности зла, разрастающегося от финансового документа, подделанного двумя гимназистами, до самых злодейских убийств. Цепь преступлений прерывается после того, как убийца Степан Пелагеюшкин грабит и убивает пожилую женщину, которая, увидев нож в его руках, даже не пытается защищаться, но говорит злодею: «Ох, великий грех. Что ты? Пожалей себя. Чужие души, а пуще свою губишь...» (XXXVI, 33). Степан все же убивает праведницу, но потом оказывается неспособен отделаться от сознания совершенного им преступления, кается и начинает путь к искуплению и моральному возрождению, так что в конце рассказа директор прииска, где Пелагеюшкин отбывает свою каторгу, говорит о нем «шесть человек убил, а святой человек» (XXXVI, 53).

На пути своего морального возрождения Пелагеюшкин возвращает к жизни и других закоренелых грешников — самым поразительным итогом его собственного нравственного возрождения становится обращение «убийцы, каторжника и палача» (XXXVI, 40) Махоркина, отказывающегося выполнять свои палаческие обязанности, которыми он успешно подрабатывал, отбывая свой срок. По Толстому, палачи куда в большей степени нравственно отвержены, чем убийцы, поскольку, во-первых, могут оправдывать свои действия тем, что исполняют чужой приказ, а во-вторых, убивая людей, сами ничем не рискуют. Тем не менее, даже самые темные и невежественные из них в глубине души сознают, что заняты презренным ремеслом, а потому все же могут быть в той или иной степени открыты для покаяния.

В позднем рассказе Толстого «Божеское и человеческое», вошедшем в его сборник «Круг чтения», воспроизведена сходная ситуация. Революционер Светлогуб, переживший после смертного приговора эпифанию христианской любви и прощения, задает палачу, который готовится его повесить, простой человеческий вопрос: «И не жалко тебе меня»? Как пишет Толстой,

Светлогуб не мог понять всего значения того, что объявлялось ему, так и теперь он не мог обнять всего значения предстоящей минуты и с удивлением смотрел на палача, поспешно, ловко и озабоченно исполняющего свое ужасное дело. Лицо палача было самое обыкновенное лицо русского рабочего человека, не злое, но сосредоточенное, какое бывает у людей, старающихся как можно точнее исполнить нужное и сложное дело (XLII, 212).

Сосредоточенность на технической стороне дела помогает исполнителю считать его нужным, временно забывая об его античеловеческой природе, поэтому, услышав этот вопрос, так явно выбивавшийся из рутины совершаемого законного убийства, палач поначалу только злится на приговоренного, но впоследствии

слова Светлогуба <...> не выходили у него из головы. Он был убийца, каторжник, и звание палача давало ему относительную свободу и роскошь жизни, но с этого дня он отказался впредь исполнять взятую на себя обязанность и в ту же неделю пропил не только все деньги, полученные за казнь, но и всю свою относительно богатую одежду и дошел до того, что был посажен в карцер, а из карцера переведен в больницу (XLII, 213).

В написанной в 1908 году статье «Не могу молчать» Толстой рассказал о дворнике, подрабатывавшем палаческим ремеслом, который прятался от людей, потому что знал,

что он палач и что то, что он делает, — дурно, и что его ненавидят за то, что он делает, и он боится людей, и я думаю, что это сознание и страх перед людьми выкупают хоть часть его вины. Все же вы, от секретарей суда до главного министра и царя, посредственные участники ежедневно совершаемых злодеяний, вы как будто не чувствуете своей вины и не испытываете того чувства стыда, которое должно бы вызывать в вас участие в совершаемых ужасах. <...> И потому я думаю, что как ни низко пал этот несчастный дворник, он нравственно все-таки стоит несравненно выше вас, участников и отчасти виновников этих ужасных преступлений, — людей, осуждающих других, а не себя, и высоко носящих голову (XXXVII, 93).

Эти мысли беспокоили Толстого. В том же году пианист Александр Гольденвейзер записал домашний спор Толстых, в котором Софья Андреевна, возражая мужу, «пыталась доказать, что всякие убийства такое же зло, как казнь, а об них не говорят», на что любимая племянница Толстого Елизавета Валериановна Оболенская вполне в толстовском духе возразила, «что казнь — убийство, считаемое справедливым, и в этом весь ужас». Толстой однако перевел разговор на исполнителей приговора, сказав: «Если спросить, кто хуже: несчастный палач, которого подкупили, споили, погубили его душу, или те, кто его подкупает и кто приговаривает к казни: прокуроры, судьи, то, мне кажется и сомненья быть не может»⁶.

В молодости Толстой много, и в основном сочувственно, писал о простых солдатах, которые также оказываются обмануты непосредственным и высшим начальством, заставляющем их приносить присягу и убивать себе подобных. В зрелые годы он поменял свою точку зрения, придя к выводу, что именно военная служба, превращающая наделенное душой живое существо в орудие насилия, является самым страшным социальным злом. Массовый отказ от присяги должен был, как он неоднократно писал, послужить началом крушения общественного зла и нравственного возрождения человечества.

12 сентября 1890 года Толстой высказал в разговоре с домашними суждение, шокировавшее собеседников своей жестокостью. Записывая его на следующий день в дневник он ни в малой степени не отступился от своих слов, хотя и уточнил их смысл:

Вчера подумал о том, что война (все говорят о посылке войск на Прус[скую] границу и о войне)⁷ не так страшна тем, что драться будут или звери кровожадные или стадные животные и что если они перебьют друг друга, то меньше их останется — и сказал это. Как на меня напали! А это так. Точно выражаясь, надо ска-

6 Гольденвейзер А.Б. Вблизи Толстого. М.: ГИХЛ, 1959. С. 223.

7 14 мая 1890 года кайзер в своей речи в Кенигсберге заявил о возможности войны с Россией, 29 мая Пруссия отказалась от русско-германского соглашения 1887 года.

зять так: люди, к несчастью, только опытом познают — и потому опыт бедственности войны им нужен. Это раз. А другое то, что людей, стоящих на той степени, на кот[орой] могут убивать друг друга по приказанию кого-то, не так жалко, как было бы жалко разумных людей. Это утешение (LI, 87–88).

В основе этой, казалось бы, столь противоречащей духу его учения мысли все то же представление о том, что искреннее раскаяние для человека возможно только тогда, когда он сам сталкивается с последствиями собственных поступков, а физическая жизнь человека куда менее значима, чем состояние его души. В отличие от палачей, еще сохраняющих смутное сознание, что дело, которое они призваны исполнять, дурно, военные часто готовы гордиться им, и только непосредственный опыт кровопролития дает им шанс на преобразование. Впрочем, в финале трактата «Царствие Божие внутри вас», над которым он работал в эти же годы, Толстой рассказал о том, как встретился в поезде с солдатами, отправлявшимися подавлять крестьянский бунт и готовыми исполнять роль палачей. Толстой впоследствии признавался своему биографу Павлу Бирюкову, что эта встреча произвела на него не меньшее впечатление, чем зрелище смертной казни, на которой он присутствовал в Париже⁸.

Экстренный поезд, с которым я съехался, состоял из одного вагона 1-го класса для губернатора, чиновников и офицеров и из нескольких товарных вагонов, набитых солдатами.

Молодеватые молодые ребята солдаты в своих новых, чистых мундирах толпились стоя или спустив ноги, сидя в раздвинутых широких дверях товарных вагонов. Одни курили, другие толкались, шутили, смеялись, оскаливая зубы, трети щелкали семечки, самоуверенно выплевывая их. Некоторые из них бежали по платформе к кадке с водой, чтобы напиться, и, встречая офицеров, умеряя шаг <...>, и потом еще веселее пускались рысью, топая по доскам платформы, смеясь и болтая, как это свойственно здоровым, добрым молодым ребятам, переезжающим в веселой компании из одного места в другое.

Они ехали на убийство своих голодных отцов и дедов, точно как будто на какое-нибудь веселое или по крайней мере на самое обыкновенное дело (XXVIII, 229).

Тридцатью тремя годами ранее Толстого потрясла механическая бездушность совершавшегося на его глазах убийства. На этот раз он своими глазами увидел, как в такого рода машину для убийства превращались живые и не жестокие по своей природе молодые люди. Природа этого превращения состояла, по Толстому, в своего рода разделении насилия, позволяющем его участникам чувствовать себя невиновными в совершаемом зле.

Исполнители, встроенные в механизм власти, получали возможность снять с себя ответственность, лежавшую на тех, кто отдает им распоряжения, в то время как приказывающие избавлялись от неприятной необходимости убивать своими руками. При этом прокуроры, судьи, министры и генералы, посылающие людей на смерть, тоже могут успокаивать себя тем, что лишь подчиняются монарху. Таким образом обнажается суть государственного устройства, состоящего в том, чтобы обеспечивать беспрепятственную работу механизма насилия, функционирующего как бы независимо от личных действий и ответственности тех, кто творит зло.

8 См.: Бирюков П.И. Биография Л.Н. Толстого. Т. 3. Кн. II. М.: Алгоритм, 2000. С. 226.

В рассказе «Божеское и человеческое» генерал, подписавший смертный приговор, в несправедливости которого он и сам убежден, «чтобы вызвать в себе жестокость, которой не было в его сердце», убеждает себя, что сам он лишь «исполнитель высшей воли и должен стоять выше таких соображений». Вспоминая свое «последнее свидание» с царем и заново испытывая «сознание своей самоотверженной преданности своему государю, он отогнал от себя смутившую его на мгновение мысль, подписал остальные бумаги» (XLII, 226).

Высокопоставленным сановникам не приходилось сталкиваться с тем физиологически неприятным чувством, которое испытывает человек, принужденный физически убивать себе подобных, поэтому им легче убедить себя, что они совершают праведное и справедливое дело, и они оказываются дальше от возможности покаяния, чем непосредственные убийцы.

Особая роль в этой пирамиде насилия принадлежит тем, кто оказывается в ее высшей точке, — то есть носителям верховной власти. С одной стороны, царям уже не на кого сваливать ответственность за принятые решения, с другой — они в наименьшей степени склонны рассматривать себя согласно нравственным и религиозным критериям, принятым для обычных людей, и прислушиваться к голосу совести.

В «Фальшивом купоне» царь, который, единственный во всем государстве, наделен правом помилования, получает телеграмму от помещицы, которая в порыве христианского милосердия умоляет его избавить от казни крестьян, виновных в гибели ее мужа:

Государь вздохнул, пожал плечами с эполетами и сказал: «Закон» и подставил бокал, в который камер-лакей наливал шипучий мозельвейн. Все сделали вид, что удивлены мудростью сказанного государем слова. И больше о телеграмме не было речи. И двух мужиков — старого и молодого — повесили <...>

Раза два в продолжение дня он вспоминал о казни крестьян, о помиловании которых просила телеграммой Свентицкая. Днем был парад, потом выезд на гулянье, потом прием министров, потом обед, вечером театр. Как обыкновенно, царь заснул, как только донес голову до подушки. Ночью его разбудил страшный сон: в поле стояли виселицы, и на них качались трупы, и трупы высовывали языки, и языки тянулись дальше и дальше. И кто-то кричал: «Твоя работа, твоя работа». Царь проснулся в поту и стал думать. В первый раз стал думать об ответственности, которая лежала на нем <...> Но он видел в себе человека только издалека и не мог отдаться простым требованиям человека из-за требований, со всех сторон предъявляемых к царю; признать же требования человека более обязательными, чем требования царя, у него не было сил (XXXVI, 48–50).

Одним из последних задуманных Толстым художественных произведений были «Посмертные записки старца Федора Кузьмича», написанные от лица Александра I. Согласно распространенной легенде, которой Толстой одно время склонен был доверять, император ушел от власти и тайно доживал свой век на купеческой заимке в Сибири. «Я величайший преступник, убийца отца, убийца сотен тысяч людей на войнах...» (XXXVI, 60–61), говорит здесь о себе бывший самодержец, но именно сознание собственной греховности в конечном счете и позволяет ему очиститься от скверны государственной власти, покаяться и спасти свою душу. По словам великого князя Николая Михайловича, Толстой сказал ему в 1902 году в Гаспре, что «если только Александр I действительно кончил свою жизнь отшельником, то искупление, вероятно, было полное» (XXXVI, 585).

В своих размышлениях о тайне высшей власти и о соотношении человеческого и условно-государственного в ее носителях Толстой также опирался на личный опыт. В 1866 году, невзирая на устойчивое отвращение к любым юридическим процедурам, он взял на себя защиту рядового Шибунина, ударившего полкового офицера. После того как его подзащитного, невзирая на все его усилия, приговорили к расстрелу, Толстой попытался использовать свои связи при дворе и обратился к императору Александру II с ходатайством о помиловании Шибунина, которое не было передано императору по бюрократическим причинам. Это неудачное вмешательство в процесс десятилетиями мучило писателя, упрекавшего себя в том, что он, вопреки свою собственному желанию сказать судьям об основах человеческой и христианской морали, попытался апеллировать к законам и параграфам воинских уставов, доказывая, что проступок Шибунина не подлежал столь суровому наказанию⁹.

Больше чем через сорок лет спустя он с непроходящей горечью вспоминал об этом в письме к П. Бирюкову:

Да, ужасно, возмутительно мне было перечить теперь эту напечатанную у вас мою жалкую, отвратительную защитительную речь. Говоря о самом явном преступлении всех законов божеских и человеческих, которое одни люди готовились совершить над своим братом, я ничего не нашел лучшего, как ссылаться на какие-то кем-то написанные глупые слова, называемые законами. <...>

Я не понимал этого тогда. Не понимал я этого и тогда, когда <...> ходатайствовал у государя о помиловании Шибунина. Не могу не удивляться теперь на то заблуждение <...> Если бы я был свободен от всеобщей одури, то одно, что я мог сделать по отношению Александра Второго и Шибунина, это то, чтобы просить Александра не о том, чтобы он помиловал Шибунина, а о том, чтобы он помиловал себя, ушел бы из того ужасного, постыдного положения, в котором он находился, невольно участвуя во всех совершающихся преступлениях (по «закону») уже тем, что, будучи в состоянии прекратить их, он не прекращал их (XXXVII, 71–72).

Самообвинения Толстого лишь отчасти связаны с неудачей его заступничества, скорее можно сказать, что он упрекает себя в том, что, стремясь помочь несчастному солдату, не прислушался к голосу собственной совести и приводил доводы, лишённые какого бы то ни было нравственного смысла, и все равно ничего не добился. Собственно говоря, с точки зрения позднего Толстого, смерть вовсе не обязательно была худшим исходом для самого Шибунина, и уж во всяком случае, призрачные надежды помочь жертве не должны были побуждать самого писателя участвовать в постыдном балагане, который представляет собой всякое судебное разбирательство. По словам Толстого, этот случай имел на него «огромное, самое благодетельное влияние» (XXXVII, 78), заставив впервые осознать многие истины, к которым он пришел позднее.

Толстой пишет в этом письме, что, защищая Шибунина, еще «не понимал» эти истины. Между тем именно в эту пору он работал над «Войной и миром»,

9 См.: *Kerr W. The Shabunin Affair. An Episode in the Life of Leo Tolstoy. Ithaca and London: Cornell University Press, 1982. P. 172–178.*

в которой те же самые религиозные интуиции в полной мере реализованы. В горящей Москве Пьер Безухов попадает в плен к французам и становится свидетелем расстрела пленных. Чудовищность этого ритуала, превращающего живых людей в бездушные орудия убийства, разрушает веру Пьера в осмысленность мироздания и погружает его в отчаяние, справиться с которым ему, как известно, помогает Платон Каратаев, служащий для героя источником живой народной мудрости и крестьянского приятия мира¹⁰. Каратаев полностью неспособен дважды повторить сказанное, а когда Пьер, пораженный глубиной какого-то его замечания, пытается его переспрашивать, говорит в ответ что-то совершенно иное. Тем не менее одну из своих историй он пересказывает шесть раз без существенных изменений, и в последний, седьмой, раз Пьер слышит ее уже накануне смерти Каратаева.

Речь в этом рассказе идет о купце, оклеветанном убийцей, который ограбил его товарища и подсунул окровавленный топор ему под подушку. Осужденный за чужое преступление, купец провел, «как следует по порядку», по словам Каратаева, десять лет на каторге.

Живет старичок на каторге. Как следует покоряется, худого не делает. Только у Бога смерти просит. — Хорошо. И соберись они, ночным делом, каторжные-то, так же вот как мы с тобой, и старичок с ними. И зашел разговор, кто за что страдает, в чем Богу виноват. Стали сказывать, тот душу загубил, тот две, тот поджог, тот беглый, так ни за что. Стали старичка спрашивать; ты за что, мол, дедушка, страдаешь? Я, братцы мои миленькие, говорит, за свои, да за людские грехи страдаю. <...> И рассказал им, значит, как все дело было по порядку. Я, говорит, о себе не тужу. Меня, значит, Бог сыскал. Одно, говорит, мне свою старуху и деток жаль. И так-то заплакал старичок. Случись в их компании тот самый человек, значит, что купца убил. Где, говорит, дедушка, было? Когда, в каком месяце? все расспросил. Заболело у него сердце. Подходит таким манером к старичку — хлоп в ноги. За меня ты, говорит, старичок, пропадаешь. Правда истинная; безвинно напрасно, говорит, ребяташки, человек этот мучится. Я, говорит, то самое дело сделал и нож тебе под голову сонному подложил. Прости, говорит, дедушка, меня ты ради Христа.

Каратаев замолчал, радостно улыбаясь, глядя на огонь и поправил поленья.

Старичок и говорит: «Бог мол тебя простит, а мы все, мол, Богу грешны, я за свои грехи страдаю. Сам заплакал горячими слезьми. Что же думаешь, соколик», — все светлее и светлее сияя восторженной улыбкой, говорил Каратаев, как будто в том, что он имел теперь рассказать, заключалась главная прелесть и все значение рассказа — «что же думаешь, соколик, объявился этот убийца по начальству. Я, говорит, шесть душ загубил (большой злодей был), но всего мне жалче старичка этого. Пускай же он на меня не плачется». Объяснил: списали, послали бумагу как следует. Место дальнее, пока суд да дело, пока все бумаги списали как должно, по начальствам значит. До царя доходило. Пока что, пришел царский указ: выпустить купца, дать ему награждения сколько там присудили. Пришла бумага, стали старичка разыскивать. Где такой старичок безвинно напрасно страдал? От царя бумага вышла. Стали искать». — Нижняя челюсть Ка-

10 Связь дела Шибунина с «каратаевским» эпизодом «Войны и мира» выявлена И. Мардовым (*Мардов И.Б.* Лев Толстой на вершинах жизни. М.: Прогресс-Традиция, 2003. С. 155–161). Однако Мардов не останавливается специально на предсмертном рассказе Каратаева, имеющем, на наш взгляд, особое значение.

ратаева дрогнула. — «А его уж Бог простил — помер. Так-то, соколик», закончил Каратаев и долго, молча улыбаясь, смотрел перед собой.

Не самый рассказ этот, но таинственный смысл его, та восторженная радость, которая сияла в лице Каратаева при этом рассказе, таинственное значение этой радости, это-то смутно и радостно наполняло теперь душу Пьера (XII, 155–156).

Позднее Толстой вернулся к этому сюжету и развернул его в отдельный рассказ «Бог правду видит да не скоро скажет», в котором повествование ведется от третьего лица, обрастает многочисленными деталями, а персонажи обретают имена и характеры. Однако в этом позднейшем сочинении пропадает главное — улыбка уже уходящего из жизни Платона Каратаева, который делится с другими пленными своим самым заветным достоянием¹¹.

Земная справедливость, по Каратаеву, способна лишь принизить смысл Божественного провидения, которому оказался причастен герой рассказа. Платон, сам пошедший в солдаты вместо брата, накануне смерти испытывает восторг при мысли о христианском самопожертвовании человека, принявшего страдание и смерть за чужие грехи, и предчувствует то же прощение и отпущение грехов, которое выпало на долю безвинно пострадавшего купца.

Пьер не вполне понимает таинственный смысл рассказа, но «восторженная радость» Каратаева переполняет его душу, возвращая его жизни смысл. В солдатском кругу он оказывается снова окружен людьми, пусть и причастными к войне, но убивающими — что вытекает из исторической философии Толстого — по внутреннему чувству, что открывает им путь спасения, который сохраняется даже для злодея, погубившего шесть душ. В то же время путь этот решительно закрыт для чиновников, включая царя, действующих, «как следовало по порядку». Господь не позволяет им исправить сделанное и приобщиться к высшей справедливости, навсегда оставляя нераскаянными убийцами.

Следующий раздел романа начинается с возгласа «À vos places»¹², мимо пленных и конвойных едет карета Наполеона.

Библиография / References

Гусейнов А.А. Непротивление злу силой // Лев Николаевич Толстой / Под ред. А.А. Гусейнова, Т.Г. Щедриной. М.: Политическая энциклопедия, 2014. С. 216–246.
(Guseynov A.A. Neprotivleniye zlu siloy // Lev Nikolayevich Tolstoy / Ed. by A.A. Guseynov, T.G. Shchedrina. Moscow, 2014. P. 216–246.)

Зорин А.Л. «Зачем люди друг друга убивают?» (Толстой и империя) // Новое литературное обозрение. 2024. № 188. С. 74–86.
(Zorin A.L. «Zachem lyudi drug druga ubivayut?» (Tolstoy i imperiya) // Novoye literaturnoye obozreniye. 2024. No. 188. P. 74–86.)
Мардов И.Б. Лев Толстой на вершинах жизни. М.: Прогресс-Традиция, 2003.

11 См.: дискуссию Х. Мак Лина и Г. Яна о текстологии и философском смысле этого рассказа: *McLean H. Could the Master Err? A Note on God Sees the Truth but Waits // Tolstoy Studies* 2004. Vol. XVI. P. 77–81; *Jahn G. Was the Master well-served? Further comment on 'God Sees the Truth, but Waits' // Tolstoy Studies*. 2004. Vol. XVI. P. 82–86.

12 По местам (*фр.*)

- (*Mardov I.B.* Lev Tolstoy na vershinakh zhizni. Moscow, 2003.)
- Мележко Е.Д.* Философия непротивления Л.Н. Толстого. Тула: Издательство Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого, 1999.
- (*Melezhko Ye.D.* Filosofiya neprotivleniya L.N. Tolstogo. Tula, 1999.)
- Полосина А.Н.* Идея насилия в творчестве Л.Н. Толстого // Культура и искусство. 2012. № 3 (9). С. 8–13.
- (*Polosina A.N.* Ideya nasiliya v tvorchestve L.N. Tolstogo // Kul'tura i iskusstvo. 2012. No. 3 (9). P. 8–13.)
- Jahn G.* Was the Master well-served? Further comment on 'God Sees the Truth, but Waits' // Tolstoy Studies. 2004. Vol. XVI. P. 82–86.
- Kerr W.* The Shabunin Affair. An Episode in the Life of Leo Tolstoy. Ithaca and London: Cornell University Press, 1982.
- McLean H.* Could the Master Err? A Note on God Sees the Truth but Waits // Tolstoy Studies 2004. Vol. XVI. P. 77–81.
- Medzhibovskaya I.* Tolstoy's Response to Terror and Revolutionary Violence // Kritika. Explorations in Russian and Eurasian History 2008. Vol. 9. No. 3. P. 505–531.